

АННА и КОНСТАНТИН СМОРОДИНЫ



РЫБАЛКА

РАССКАЗ

Какая-то внутренняя суета вкралась в мою жизнь. Симптомы были знакомые и имели психологическую подоснову, накопились, переполнили проблемы и стрессы, и забило меня, залихорадило изнутри. Давненько не приходилось так туго — и на работе не ладилось, и с женой не складывалось, и дети раздражали... Всё-то денег не хватает, всё-то перспективы никакой... Что же делать? Как спастись?.. Простейшее средство — дружеская компания и добрая баня с настоящей парилкой. Лечь на полок и согнать с себя венничком (лучше всего березовым) душевную хворобу. Но я чувствовал — не подействует сейчас баня. Второе известное лекарство: молодая красивая женщина, то бишь легкомысленная интрижка на стороне. Хотя и требует этот способ моральных и физических затрат, но, как говорится, клин клином вышибается. Однако передозировка может привести к летальному (для семьи) исходу, недостача — усугубит тоску, всё ту же болезнь. Оставались благоприятствующие излечению мужские физические забавы: охота или рыбалка. Я выбрал последнее.

Время как раз подходящее: теплая осень. Впрочем, для рыбалки всякое время подходящее, если ты умеешь ловить, выуживать то, что другим в руки не дается. Увы, я не принадлежал к числу избранных судьбой рыболовов или охотников.

Недалеко от матушкиного дома (когда-то я говорил “нашего”) жил пенсионер-железнодорожник, коренастый, с обветренным красным лицом, в

---

*СМОРОДИНЫ Анна Ивановна и Константин Владимирович – прозаики, публицисты. Выпускники Литературного института им. А. М. Горького. Авторы многих книг и публикаций в центральных журналах. Члены Союза писателей России. Печатались в “Роман-журнале XXI век”, молодежном журнале “Странник” и др. Члены Союза писателей России. Живут в г. Саранске.*

вечной брезентовой куртке, дядя Миша. Вот это был рыбак так рыбак! Он — единственный из известных мне с детства и по сю пору рыбаков, кто никогда не возвращался домой без добычи. И какой добычи! Мы и представить себе не могли, что такая замечательная рыба водится в окрестных водоемах — прудах, озерах и реках: уродливые угри, бревнообразные сомы по пуду весом, пятнистые острозубые щуки, в руку толщиной, бронзовые мощные язи, плоские, как сковородки, лещи, усатые верткие налимы, дюжие остроносые судаки. Все они попадались на крючок дяде Мише. Применял он и другие снасти, несмотря на то, что тогда было строго... Рыбой приторговывал. Его уважали в деревне, но мало кто любил. Может, я застал такое время. Мать говорила, что после смерти жены он стал угрюм и нелюдим. Тем не менее, запомнился один из его столь редких советов: по осени хорошо идет окунь, в полнолуние или когда месяц только прорезался, в хмурую, с прояснениями погоду, по раннему свету, на излучине (имелась в виду река), между мелководьем и ямами, следовательно, лучше всего с лодки.

Пруд находился рядом с деревней, до реки же было километра четыре с гаком. Мы, пацаны, баловались бреднем, ловили и “мордами” — плетеные, напоминающими веретено корзинами, и удочками, с берега или устраивая себе плавучие гнезда на камерах с тракторных колес. Конечно, и у нас случались удачи — килограммовые лещи и щуки, приличные сомыта, не говоря уж про карасей и окуней, но по сравнению с уловом дяди Миши наша рыба всегда почему-то выглядела довольно жалко.

И вот на выходные, ломая планы жены и сына (“Зима на носу, заготовки в разгаре, а у тебя блажь!”, “Папка, ты же обещал “жигуленок” мне!”), я отправился в родную деревню. Матушка обрадовалась, не ждала без предупреждения (у меня не сложились отношения с очередным свяжком, и поэтому мы с сестрой старались, чтобы наши поездки не совпадали), засуетилась, охая и поругивая болезни, причитая, рассказывая местные новости и одновременно ставя ранний обед — замешивая тесто, затевая фирменные (в печке) щи. Она меня не корила, но я чувствовал — ждет объяснений: отчего долго не приезжал, почти два месяца. Бродя бы и рядом — какие-то полсотни километров, и машина у меня под рукой, — так и слышал ее немые вопросы-причитания в паузах между деревенскими новостями. Погладил ее по плечу и вышел в сени, через них — на веранду, где на полу лежали груды зеленой и желтобокой антоновки, и знакомый до одури запах, казалось, вытесняет тусклый серебристый свет, просачивающийся извне сквозь многоячейное окно-стену. Тюлевые занавески смазывали фиолетово-коричневые очертания голого вишеника в палисаднике. Такое все было родное и знакомое, что я из сорокалетнего матерого мужика в мгновение ока превратился в мальчика-подростка с перевязанным горлом (ангина), который вопреки наказам куда-то ушедшей матери выскочил на веранду, раздвинул занавески и смотрит, как густой сетью белых хлопьев окутывает дом первый в том году снег. Точно так же можно было бы наблюдать за снегопадом из окна теплой комнаты, но с веранды, благодаря широкому обзору, это зрелище казалось грандиозней.

— Ты куда пропал? — матушка уже звала в открытую дверь. — Из тепла, неодетый!..

Я поспешил назад, потому что испугался, как бы не простудилась она, оставшая до моего прихода дверь нараспашку. Хитрая у меня мама, только хитрость у нее зачастую не в свою пользу.

— Ты по делу, что ли, приехал, — наконец решилась спросить, — или просто поведать?

— На рыбалку.

— То-то я гляжу, — и она осеклась, как бы подразумевая, что мы и без лишних слов поняли друг друга.

Так оно, наверное, и есть — поняли. Материнское сердце — вещун, чувствует смуту на душе родного дитяти, словно по-прежнему незримая пуповина связывает нас. И пусть это выглядит эгоистично, — хорошо, когда кто-то родной понимает тебя без слов и принимает таким, какой ты есть на самом деле, а не в глазах других.

— Помнишь дядю Мишу, железнодорожника?

— Это какого? Сетина, что ли? Через три дома... — Надо же! Я, оказывается, прекрасно помнил, что он отменный рыбак, а то, что у него и соответствующая фамилия была, напрочь вылетело. Вот оно как бывает.

— Лет пять назад его внук приезжал. Твоего возраста. Еле могилку нашли, родни-то у них тут и нету. Чужаки были. Приехали пенсионерами из города, квартиру детям оставили, наши завидовали... — И матушка принялась рассказывать, что знала о Сетиных. Она-то помнила всё — и то, что супруги вместе здесь прожили три года, и то, что вдовец, не обращая внимания на притязания старушек, “отгулял” еще неполных семь лет после смерти жены.

Она рассказывала и одновременно обрабатывала овощи: часть для салата, часть для заправки в щи. На стене мерно тикали ходики, старые жестяные ходики с красным глазастым трактором и девушкой в косынке на циферблате: свадебный подарок бабушке и дедушке. Только-только тракторы появились в колхозе. Почти перед войной.

Запирая за мной дверь, матушка напутствовала:

— Ты там поосторожней!..

Деревная спала предутренним сном, даже воздуха не коснулась дымка пробуждения. Из-за облаков выглядывала пятнистая луна, освещающая дорогу передо мной и окрестности поблизости, и вдоль центральной деревенской улицы протянулась цепочка похожих на одуванчики фонарей. Вскоре я миновал последний дом, в котором, вместе со своей козой-кормилицей и пушистой кошкой, жила наша дальняя родственница тетя Шура, и вступил в лес. Грозная рать деревьев, шушукаясь между собой, обступила со всех сторон — то ли воины, то ли разбойники. Ночной лес неприветлив, и хотя ты вроде бы знаешь здесь все овражки и опушки, все равно холодок угрозы пробегает по спине. Если, конечно, размышлять об этом, я же шел по широкой просеке, старательно обходя бочажки с гнилой водой, поблескивающей в неверном свете луны, спотыкаясь время от времени на кочках или выбоинах и настраиваясь на благостный лад, на предвкушение рыбалки. Вспоминал, как разбирал вчера снасти: две удочки, одна оказалась без поплавка и грузила — свояк пользовался и забыл якобы наладить, и это вызвало небольшое раздражение (что от него ожидать?), потому что удочки были мои, и хотя я их два года не использовал по назначению, по весне проверил и как раз на эту поставил новое гусиное перо, между прочим, покупное. Ну, да у меня нашлись запасные, и даже хорошо, что пришлось всё делать заново (я и леску поменял), зато теперь уверен, что эта удочка надежная, в случае крупной добычи — не подведет. Остальное: сачок, металлическая сетка для улова, небольшая ловушка-мережа — были в порядке, в полной исправности. Не поленился — сходил к дачнику-москвичу (их здесь обосновалась целая колония), который в отличие от большинства прочих оставался в деревне и на зиму, и попросил резиновую лодку на завтра. Он не отказал (тень колебаний на лице мелькнула), вынес и лодку, и ножной насос, и два звена от тракторной гусеницы вместо якорей, но посоветовал взять одно (большая тяжесть — оба тащить) — с носа бросить якорь, а корму зацепить веревкой за куст или дерево, чтобы лодку не сносило. Сейчас я радовался, что за спиной, в рюкзаке, одно гусеничное звено, и то — ноша достаточно обременительная. Таился у меня в рюкзаке и собственный секрет: нажег березы, золу сложил в мешочек и привязал к куску лески. Мешочек следует проколоть в нескольких местах и опустить в воду. Зола растворится, образуя черные ленты и спирали, а любопытные окуни — и не только окуни — соберутся, чтобы узнать: что такое, откуда и почему. Наверное, у дяди Миши были десятки подобных хитростей-секретов, у меня же один, зато некогда вполне оправдавший себя.

И все-таки воспоминания о вчерашних хлопотах (с незримым участием матушки) ощущения мелькнувшей было безмятежной радости не возвращали. А я жаждал именно этого! Радости или покоя, — как однажды на рыбалке в дождь: я спрятался под могучим осокорем, и гладь пруда рябила от крупного мерного дождя... И так было тихо, всё пронизано тускло-ласковым светом, отрадно для глаз, спокойно... О! Это было удивительное ощущение

ние — настоящего вневременного покоя!.. Почти — счастья!.. Я всегда вспоминал эту умиротворяющую картину в трудные минуты жизни... Когда вдалеке в черных рядах деревьев появился серый прогал, я наконец догадался, в чем дело. Мне подспудно хотелось выбраться из темного грозного леса, словно он невольно олицетворял мое душевное состояние, хотя внутренняя лихорадка притупилась. И рыбалку я выбрал, вероятно, в надежде вновь пережить ощущение того самого покоя или вернуть детскую радость новизны, обретения мира. Пусть тень того счастья... Однако пруд тот остался далеко, в другой области, в другой жизни, так что не доехать, не дойти. А детство и того дальше...

Лес в длину тянулся на десятки километров, а в ширину, в том месте, которое я и пересекал, километра на два с небольшим. Когда-то здесь пролегла дорога, и я мальцом ездил на велосипеде в деревню, находившуюся на спуске от леса к пойме. Домов пять или шесть стояло в садах с обеих сторон дороги. От той деревни ныне не сбереглось и следа. Разве что несколько одичавших яблонь да старая береза притулилась к пригорку. Всё меняется...

Наконец лес кончился. На пойме было светлей. Солнце еще и не думало выглядывать, но оно как будто заставило луну светить ярче — река чуть угадывалась вдалеке, и ветер доносил ее свежий запах, возможно, это лишь чудилось. С каждой минутой становилось светлей и светлей. И вдруг впереди я заметил какую-то расплывающуюся точку. Ноги невольно сами ускорили шаг, к тому же я все еще шел под уклон. Получалась небольшая погоня. И уже пришла догадка: рыбак, меня опережает рыбак. Досада, обжигая, плеснула внутри: судя по всему, он направляется туда же, куда и я, — к излучине. Наверняка рыбак без лодки, а там всего лишь одно место, удобное для ловли с берега. До этой минуты я все еще не принял окончательного решения — буду ли пользоваться лодкой. Столько возни, и может статься — разыграется волна, а на том месте на бережку обычно тишь да гладь. Меня как будто лишили права выбора. Я шел, толкаемый внутренней раздраженной пружиной. И в предстоящей ловле должен был я утесниться, подвинуться, поступиться чем-то своим для другого человека.

Воздух становился сизо-голубоватым. Точка (клякса!) скрылась из видимости в заросшем кустарником и ивами овражке, но и без того было окончательно ясно, что рыбак направляется именно к излучине. Я и сам только что миновал развилку, от тропы вправо и влево ответвлялись стежки, река же была совсем рядом. В овраге лежало несколько старых скользких бревен, позволявших перебраться через заболоченный ручеек, и когда я взобрался по косогору на гребень, увидел раздвоившуюся — к моему удивлению — точку, двух человек, рыбаков или неизвестно кого, хотя бродягам и праздным любителям природы здесь делать абсолютно нечего. Тем более в такую рань.

В другой бы раз я, может быть, и обрадовался компании, а сейчас, разглядев парочку вблизи: крепкий старик и безусый парень, — оба в фуфайках, резиновых сапогах и одинаковых картузах, чем-то схожие, — длинными носами, что ли? — я ощутил пустоту. К тому же они оказались не нашими, деревенскими, — своих я всех знал, и в то же время они не походили на дачников-москвичей — слишком уж крестьянское обличье. Самое же главное, они по-хозяйски расположились на излучине в единственном удобном (“моем”) месте и уже разматывали свои удочки. Старик как раз собирался забрасывать. Безднажность — почему? не знаю сам! — пронзила меня, но я, как полагается, поздоровался. Они неохотно ответили, вероятно, заметив, что мне не так уж и приятно созерцать их персоны. Я прошел по берегу на полсотни метров подальше, выбрал подходящий просвет между тальником или вербой — кто точно знает, как эти жалкие прибрежные кусты называются? — и занялся лодкой.

Примерно через полчаса я нагло расположился чуть ли не напротив парочки рыболовов. Корму, как и собирался, привязал к кусту и, перегнувшись через борт, плюхнул на значительную глубину (дно изобиловало ямами) гусеничное звено-якорь. На меня, похоже, не обратили никакого внимания, — и потому, что расстояние я все-таки соблюл на грани разумного — метров

пятнадцать-двадцать между нами было, и потому, что начался клев. Молодой вытащил что-то крупное (я не успел разглядеть), старик одобрительно крикнул. Я заторопился со своими снастями, предварительно бросив приманку и запустив мешочек с золой, и вскоре первый полосатый красавец окунь, не очень большой, но весомый, граммов на сто пятьдесят, бил хвостом на дне лодки. За ним — второй, третий, четвертый — все как на подбор, и вдруг настоящий, под полкило, пришлось подхватывать его сачком. Забрехала радость вместе с пробившимся из-за леса солнцем, лагунными полосами легшим на воду, играя блестками — солнечными зайчиками там, где зеркальную поверхность морщинил ветерок. Солнце, впрочем, вскоре скрылось между тяжелыми осенними облаками-тучами. Между тем стало теплее, и я поспешно сложил улов в специальную металлическую сетку и, привязав толстой леской к хлястику куртки, опустил пленников в столь безопасную для них недавно глубину. “А не ешьте своих мальков! — злорадно подумалось. — Посидите в клетке...” Ветер усилился. Лодку покачивало, подбрасывало на небольшой волне (забрасывал я на подветренную сторону), и веревка, держащая лодку за куст, ослабилась, узел размочалился и развязался. Я втянул конец веревки в лодку и все таскал окуней, клев не кончался, и радостный азарт не отступал. Краем глаза я заметил, что у меня дела идут лучше, чем у рыбаков на берегу. Видимо, здесь оказалась большая стая окуней, или они пришли на зов моей золы. Но, как назло, лодку стало заносить, — у меня сорвался не то подлещик, не то карась, блеснув серебристой чешуей, и я волей-неволей должен был исправить положение — заново привязать лодку к кусту. Для этого предстояло вытащить якорь, подплыть к берегу, привязать лодку, вернуться на прежнее место и опять закинуть якорь на дно. Я, напрягаясь, вытягивал гусеничное звено из глубины, и тут шарахнул ветер, ударила волна, и я — непонятным образом — очутился в воде. Нет, страха не было, лишь недоумение, удивление и острый холод... Якорь и что-то еще, прицепившееся сзади, неумолимо тянули меня на дно. Я догадался выпустить веревку, извиваясь всем телом, загреб руками и сумел вынырнуть на поверхность. Я одновременно хватал ртом воздух и орал. Что-то черное обрушилось на меня сверху и плашмя ударило по голове. Я уходил в воду, барахтался, выныривал, одежда промокла, ботинки и то, что было сзади (не чистый, не иначе!), тянули вниз, а главное, когда я выныривал, борт лодки или деревянная скамья снова и снова били меня по голове. Я пытался ухватиться за лодку, пытался перевернуть ее, но резиновое чудовище выскользывало из рук и раз за разом накрывало меня бортом или днищем.

Ужас объял все мое естество, я понял, что погибаю, что лодка, непотопляемая лодка, из друга превратилась во врага и почему-то непременно хочет утопить меня, бьет и бьет по голове, словно желая достучаться: ты понял за что? ты понял? “Да, — зазвенело в голове, — за что? За что?” Как будто вся моя скопившаяся ненависть к миру вырвалась наружу, материализовалась и теперь хлопала сверху и приказывала: “Тони! Погибай!” И я в ответ вновь все возненавидел с десятикратной силой, мое отчаянье выковалось в ненависть: и к реке, и к лесу, и к солнцу на небе, и к людям на берегу, и ко всей вселенной. Ненависть клекотала, вырываясь слезами и хрипом: жизнь оказалась ловушкой, любовь — предательством, надежда на исцеление — обманом!.. Я ненавидел всех и вся и только, казалось, благодаря ненависти все еще был жив и держался на плаву.

Меня вытащили рыбаки. Они также вытащили лодку, одну из удочек, а рыба уцелела чудом — это она, привязанная за хлястик куртки в своей проволочной тюрьме, толкала меня в спину и пыталась утянуть на дно, действуя заодно с тяжелыми ботинками, которые я так и не сумел сбросить с ног. Где-то на дне лежали рюкзак с насосом, куда-то уплыли вторая удочка и сачок. Размышления о вещах ненадолго отвлекли меня, но когда я оцупал себя и убедился осязанием, что жив, ненависть (или отчаяние?) жаркой волной ударила в голову, и я, даже не поблагодарив своих спасителей, как безумный, схватил лодку, сетку с рыбой и болтающимся на ней оторванным хлястиком и, не разбирая дороги, побежал в сторону леса, еще не понимая зачем — то ли спрятаться там, то ли искать дорогу домой.

Лес встал стеной и не пускал меня внутрь. Я несколько раз пытался врываться в него, обдирая руки невесть откуда взявшимся шиповником и получая удары по лицу ветками молодых осин и орешника. Лодка не давала протиснуться вглубь, и все еще кипела во мне, вновь разрастаясь, ненависть. Я матюгался, обзывал осинник “сволочью” и “предателем”, а он по-прежнему пресекал мои попытки проникнуть в чащу ударами веток и подножками. И тогда я побежал вдоль него, сам не понимая, что крича — вероятней всего, угрозы лесу, полю, реке... Мне мерещилось: все насмеются надо мной, и все они довольны — добились чего хотели. Я орал все громче, хохотал и бежал, бежал, волоча за собой лодку, подсознательно отыскивая просеку с тропой. Брызнул дождь. Ветер давно бушевал, свиристел мне в уши, сбивал с ног. Засверкали молнии. Ударил гром. Будто весь мир ополчился против меня, воспламенившись от моей ненависти и породив огненную стихию. Сразу потемнело все вокруг, померкли осенние краски, слившись в серую или серо-голубую пелену в мертвенном озарении электрических зигзагов. А я всё бежал, словно заведенный злостью робот. Трава и земля под ногами скользили, сработал инстинкт самосохранения, и я остановился. В голову пришла почти здравая мысль: “Пусть поливает дождь — чем хуже, тем лучше!”

Наконец-то сознание начало возвращаться, я почувствовал, что весь горю и сверкаю в унисон грозным всполохам, и так явственно возникло чувство собственной гибели. Сердце заколотилось. Отчего? Почему я гибну? Почему?! Опрокинулась лодка и перевернулась жизнь? Почему? Ведь это нелепо, ненормально!.. Или?! Всё, что было в моей ничтожной жизни, в моей бедной голове, в моем прошлом и настоящем, представилось мне неправильным, и пути спасения от меня самого не было: прелюбодей, фарисей и мелкий человечиска! Именно так! Именно этими словами-клеймами можно определить мою жалкую сущность. А ведь я представлял себя нормальным здравомыслящим человеком, который кое-что понимает в жизни и руководствуется определенными принципами — не убий, не укради... Да, верно, могу бесстыдно сорваться на старуху в троллейбусе, которая и себя-то саму не помнит, могу наорать на подростка, если он не уступает мне дорогу, могу обидеть слабого — накатит, захлестнет злоба и вырвется наружу! Да! Могу увлечься чужой женой!.. Какой это в наше время порок? Скорей — достоинство!.. Ну и что? Что? Я всё-таки сдерживал гадкое в себе, всегда старался соответствовать некоему идеалу хорошего человека. Сейчас идеалы меняются, стыдно не воровать, не обогащаться!.. А я всё-таки верен!.. Так за что меня доской по голове?! За что?.. Может?! Ага!.. Вот оно!.. Всю жизнь давил себя насильно — соответствовать, быть, выглядеть!.. Так, может, стоит освободиться наконец?! Стоит стать самим собой, естественным, и хоть гаденькое, маленькое — да зато удовольствие получать от своей собственной жизни? Наверняка никоим образом это преобразование не удивило бы!.. Как всё перевернуто, запутанно и мерзко! Хочется стать естественным, а что-то не пускает. Совесть? Матушка? Всевышний? Примет ли матушка меня естественным? Другие принимают — и убийц, и насильников, — а моя чем хуже? Сама в глупом смирении сломала свою жизнь — не покинула стариков-родителей, когда позвал, полюбил, хотел принять с двумя чужими детьми... И что?! Кому нужна эта пустая, маленькая человеческая жертва? Интересно, матушка, ты догадываешься, какой я есть на самом деле? Ведь мы с тобой связаны одной пуповиной? Вот-вот! Не могу мучиться!.. Больше не хочу!

Воздевая руки, обратился я к молнии:

— Лучше убей!.. — и в истерике, рыдая и хохоча, один — во тьме, в поле — упал, тычась лицом в грязь и по-бабьи подвывая: — А-я-я-яй!

Что-то трепыхнулось у меня в груди, под сердцем. Оно, сердце, выскокило, выпало на холодную жесткую землю? Сунул руку под грудь, нащупал металлическую сетку и в ней полукилограммового окуня — под моей тяжестью затрепыхавшегося в последнем предсмертном усилии. Нашел пальцами его хребет между плавником и головой и изо всех сил сдавил. “Все!” — констатировал. И разостлалась темь перед глазами.

Очнулся — ни чувств, ни эмоций. Полное опустошение. Будто и вправду погиб и даже как-то физически ощутил растворение свое в этих грязевых

хлябях. “Да что случилось-то? — спросил сам себя. И сам себе ответил: — Ничего”.

— Ничего! — повторил я вслух. — Ничего!

Поднялся. На том месте, где я только что лежал, — обляпанная грязью сетка с уловом, чуть поодаль — лодка. Они выглядели предметами из другой реальности, чем-то чужеродным, ничего этого мне не было нужно. И все же я наклонился, лодку взял, взвалил на плечо. То ли потому, что надо было возвращать ее дачнику-москвичу, то ли оттого, что предстояла мне переправа через мертвые воды Стикса, и я предпочитал явиться туда со своим плавердством. Несколько раз упал, прежде чем обнаружил просеку-прогал, и пошел по кривой и скользкой тропинке, вновь и вновь падая и вставая. Теперь, почти во тьме (ночь?), брезжило мне впереди путеводное окошко. Наверное, тетя Шура в своей крайней, у леса, избе зажгла его. А может быть, кем-то была приоткрыта для меня дверь в ад? И будто бы еще можно было выбрать куда пойти. Я замедлил шаг, но лишь на мгновение, и решительно пошел по торной вблизи деревни тропе — на тот свет.

